



Портрет Сариты

Юлия Гофри



ФАНТАСТИКА

В просторной круглой зале будто продолжалась уже наступившая снаружи ночь. Легкие черные занавеси скрывали стены, антрацитовый ковер устилал полы, высокий же потолок был окрашен в слегка отдающий синевой цвет ночного неба и увешан сотнями крохотных, не больше ногтя, фонариков.

Художник Ингерн стоял у стены, скрытый, как и его работы, легким тюлем драпировки. Приблизив глаза к самой ткани, можно было, оставаясь невидимым, наблюдать за гостями. Они разговаривали, смеялись, обсуждали что-то легкое и не важное, без счета снимая с серебряных подносов бокалы с прозрачной жидкостью. Подносы разносили с головы до ног одетые в черное слуги с окрашенными толченым графитом руками и лицами, поэтому казалось, что сверкающие подносы с бокалами движутся сами по себе, паря в воздухе. А жидкость в бокалах — это знаменитое галернское вино, которое ласкает гортань, веселит сердце и душу, но сохраняет чистоту разума.

Глаза Ингерна скользили по залу. Он видел людей, пришедших только для того, чтобы развеять скуку беззаботного, бездумного существования. Узнавал тех, кто жаждал увидеть и почувствовать новое — но лишь такое, что не разбередит сытую душу, не разбудит задремавшего сердца. Замечал почитавших должным видеть все, что было в моде — в этом сезоне, этом месяце, этом часу дня.

Художник знал цену восхищению собравшихся людей. Но знал и то, что без таких приемов, без эксцентричных, поражающих воображение выходок его известность быстро сойдет на нет. А с ней уйдут и деньги — значит, и свобода. Свобода хоть иногда, хоть тайком творить то, что он хочет, к чему тянется душа.

Все же кое-кого из приглашенных художник искренне ценил и хотел видеть. Вот Рах, старый мастер, не утративший с годами ни остроты зрения, ни гибкости ума. Вот Мерклени, некогда вместе с Ингерном учившийся азам мастерства. Вот Изитель, изготовитель красок и тонкий ценитель искусств. Вот, наконец, Арол, жрец Дворца Узоров, обладающий властью уничтожить любое творение любого мастера. Ингерн привычно пожегся. До сих пор Арол был блажелателен к молодому художнику, но кто знает, что творится в загадочной душе жреца? Ингерн скользнул взглядом дальше. Вот братья-купцы Лодио и Легран, гости из Самеи, нередко бывающие в Зианоре и никогда не упускающие возможности посмотреть работы Ингерна.

А вот... сердце Ингерна сбилось с ритма, пропустило положенный удар.

Сарита. Пришла. Можно начинать.

Повинуясь безмолвному приказу, громко и гулко ударил барабан. Последовал миг тишины, когда все, подняв головы, замерли в ожидании. В эту тишину упал второй удар, третий, четвертый, неторопливые и уве-

ренные. Немедленно ритм был подхвачен другими барабанами, меньше и звонче, а затем зачистили совсем маленькие барабанчики из тех, в какие музыканты обычно бьют ладонью. Ингерн наблюдал, как стоявшие в зале люди, сами того не замечая, принялись вторить этой музыке, слегка покачивая в такт то головой, то рукой или ногой, перебирая пальцами или поводя плечами. Еще один знак — и музыка прекратилась так же внезапно, как и началась. Вместе с последним гулким ударом художник выступил из-за портьеры.

Гости замерли, а затем разразились восторженными криками. Ибо длинная туника Ингерна, несомненно, была одной из новых работ художника. Черная основа узора сливалась со стенами, и казалось, что красные линии висят в воздухе, увенчанные невесть откуда взявшейся головой.

Художник поклонился и, не произнося ни слова, вскинул левую руку. Тут же слева от него взвилась черная портьера, послушная невидимым канатам в руках слуг, и взглядам гостей предстала первая, если не считать странного наряда, работа художника. Это был ковер, вытканый все теми же красными узорами на черном фоне. Сами по себе узоры не отличались необычностью: квадраты и прямоугольники, свойственные старой зианорской школе, но сочетание цветов было современным и смелым. Когда шепот в зале утих, Ингерн, все это время не сходявший с места, вновь взмахнул рукой, на этот раз правой — и взглядам открылся следующий ковер, еще более необычных цветов: круги густо-синего цвета, достигаемого лишь краской из растертого в порошок сапфира, на густом янтарном фоне. Все взгляды невольно обратились к Аролу: не найдет ли жрец подобное сочетание запретным? Ибо, увидев этот ковер, каждый немедленно вспомнит об озере Янок, чьи воды были именно такого оттенка синевы, а берега открыты янтарного цвета камышом. Однако человек из Дворца Узоров остался спокоен и безмятежен, не сделал шага вперед, не вскинул обвиняющую руку.

Под следующей портьерой обнаружилась огромная, от пола до потолка, картина, опять написанная лишь сапфировой и янтарной красками, однако на этот раз смело сочетавшая привычные зианорские квадраты со знаменитыми галернскими «бобами».

Наконец все портьеры, закрывавшие стены, оказались подняты, все работы оказались на виду, и гости поняли, что до сих пор не смели сойти с тех мест, где застал их первый удар барабана. Словно придя в себя после обморока, они принялись переходить с места на место, рассматривая ковры и картины. Ингерн ждал, улыбаясь. Когда люди увлеклись разговорами, художник, в последний раз за этот вечер, подал знак музыкантам.

И вновь барабанная дробь заставила каждого замедлить. Ингерн осторожно отступил в сторону, и гости

внезапно увидели, что одна занавесь все еще оставалась опущенной — та, что была за спиной у художника.

Умолкла музыка, и немедленно сорвалась, упала последняя портьера.

На невысоком пьедестале стояла женская фигура. Все затаили дыхание.

Неужели безумный художник решился на запретное? Неужели в своей мастерской кощунственной рукой рискнул создать подобие того, что сотворила природа? Неужели...

Но нет, Ингерн вовсе не сошел с ума, решив у всех на глазах нарушить древнейший закон Зианора. На пьедестале стояла не каменная статуя, а живая девушка.

На юной красавице вовсе не было одежды, ничем не прикрывалось совершенство ее тела. Однако никто в зале не назвал бы модель художника обнаженной. Тело от макушки до пят покрывали сказочные, редкой красоты узоры. Волосы, то ли рыжие от природы, то ли выкрашенные художником в цвет осеннего камыша, были собраны в тяжелый узел и перевиты изумрудными шнурами. Те же два цвета взял художник, создавая картину на теле красавицы, но использовал все их оттенки, которые только могло создать воображение. Один цвет перетекал в другой, изысканные завитки уступали место переплетению линий, простым старинным узорам, однотонности.

Девушка сделала шаг вперед, затем другой и, опираясь на протянутую руку художника, сошла с постамента по трем невысоким ступеням. Она пошла вперед, и каждый мог увидеть ее вблизи, рассмотреть, что краска лежит на юном теле тончайшим слоем, не осыпаясь и не сковывая движений. Легкой походкой красавица скользила среди гостей, и те расступались, давая ей дорогу. Шепот пронесся по залу, когда на пути у нее оказался Арол, но и тот, чуть помедлив, отступил в сторону. Девушка продолжила свой путь через залу. Дойдя до двери, она остановилась, повернулась, поклонилась, разведя в стороны тонкие руки, — и через мгновение исчезла.

Ингерн оставил гостей так рано, как позволяли приличия, вышел на небольшую веранду перед домом и встал, оперевшись ладонями о деревянные перила ограды. Его отсутствие вряд ли играет роль: работы, не считая самой последней, уже выставлены на всеобщее обозрение, музыкантам заплачено до утра, а вышколенные слуги продолжают подавать вино и закуски. В конце концов, внезапно нахлынувшее вдохновение — вполне достойный предлог, только добавляющий очарования образу художника. Признанного художника, разумеется. Признание открывает многие двери, признание превращает непристойное в экзотичное, нелепое и безумное — в эксцентричное, признание делает дозволенным так много! Почти всё. Почти. И поэтому оно почти стоит цены, которую за него приходится платить.

— Господин Ингерн! — раздался голос за спиной.

— Да, господин Арол, — ответил художник, не оборачиваясь.

— Ваши творения выше всяких похвал, как обычно, — произнес жрец, подходя и становясь рядом. — Но мы с вами оба знаем, что едва ли четверть из собравшихся сегодня людей способны оценить их по достоинству.

— Четверть? Боюсь, господин Арол слишком добр.

— Возможно. Вы также понимаете, господин Ингерн, что именно привлекает в ваших работах остальные три четверти.

Ингерн молчал, ожидая продолжения. После недолгой паузы Арол произнес, словно обращаясь не к Ингерну, а к звездному небу над кронами магнолий:

— Хождение по грани опасно не только для тех, кто неумел и неосторожен. Порой те, у кого достаточно мастерства раз за разом удерживаться на самом краю, подвергаются искушению сделать шаг вперед. То ли они перестают понимать, где находится край, то ли надеются, что он перенесется вслед за ними...

Не закончив мысль и не прощаясь, Арол сошел вниз, на дорожку, ведущую прочь из сада, и исчез в тени деревьев.

Ингерн проводил его взглядом и остался стоять на месте, вдыхая аромат цветов. Сзади вновь послышались шаги, и художник обернулся, улыбаясь.

— Сарита!

— Ингерн, это было прекрасно! Я даже немного ревновала к этой девушке. Не потому, что подозреваю недостойное между вами, но потому, что она делила с тобой то, что не позволено делить мне.

— Тебе незачем ревновать меня, Сарита, — мягко произнес Ингерн, — в моем сердце нет места для других женщин.

— Я знаю, — серьезно сказала девушка. — Я делю твое сердце лишь с кистями и красками, верно?

— Сарита...

— Не возражай мне, прошу. Я ведь не корю тебя. Я только хотела бы, чтоб и мне нашлось место в том мире, в котором ты живешь, Ингерн.

Не зная, что сказать, Ингерн склонился к ее губам. Она ответила, но тут же сбегала вниз по ступеням и исчезла в саду, как прежде Арол. Ингерн смотрел ей вслед, закусив губу. Когда тоненькая фигурка показалась из тени у освещенной луной калитки, он неожиданно окликнул ее:

— Сарита, стой!

— Ты уверена? — спросил он в последний раз, глядя на ее обнаженное тело.

— Да. А ты? Ведь не мне грозит опасность.

— Я не могу иначе, ты ведь понимаешь.

— Понимаю. Но и я тоже.

Он кивнул и коснулся бумажки куском угля...

Рисовать человеческое тело оказалось несравненно труднее, чем рисовать цветы, сложнее даже, чем рисовать животных. Впрочем, рисовать животных Ингерну приходилось по памяти: вряд ли можно было бы объяснить присутствие в его мастерской кошки или собаки. Приход же Сариты никого не удивлял, и ни одна живая душа не посмела бы потревожить их уединение.

Впервые он осмелился сотворить подобие год назад. Тогда Лодио, приехав с братом из Самеи, привез Ингерну дорогой подарок — семейскую лилию, драгоценный цветок цвета чистого золота, способный сохранять свежесть три месяца после того, как его срежет нож садовника. Ингерн не мог оторвать взгляда от цветка. Когда же лепестки начали терять упругость, а пыльца с тычинок осыпалась полностью, художник отнес увядающую лилию мастеру красок. Приготовление редкой краски, ради которой и был сделан дорогой подарок, заняло неделю. То, что случилось потом, Ингерн не мог бы объяснить никому. Художник будто сошел с ума. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним вставал образ лилии, словно живой, с тонкими желтоватыми и красноватыми прожилками, с лепестками, светлеющими

ми к основанию... Ингерн думал о цветке, как думал в ранней юности о женщине, только это желание было иного рода, и не находилось от него художнику спасения. Опуская кисть в сделанную из цветка краску, Ингерн не вспоминал о том, что нарушает закон: он спасал свой рассудок. Художник опомнился, лишь когда увядшая лилия вновь расцвела на влажном холсте.

И тогда он испугался.

Про Дворец Узоров ходили разные слухи, один удивительнее и страшнее другого. Говорили, будто тамошние жрецы обладали способностью читать в душах людей, узнавать если не мысли, то намерения еще до того, как свершалось запретное деяние. Говорили, что сам Дворец не был построен рукой человека, но был рожден, словно лес или скала, самой природой. Говорили, что жрецы, словно собаки, тайным чутьем находят безумцев, которые осмеливаются нарушить запрет на создание подобных.

А про то, что делают с этими безумцами, ничего не говорили.

Несколько месяцев Ингерн в ужасе ждал, когда за ним придут. В каждом слове, в каждом взгляде случайно встреченного жреца виделся ему намек, угроза. Но даже и тогда рука художника не поднялась уничтожить сотворенное им беззаконие. Когда же прошло много дней и никто не появился, чтобы уличить Ингерна, он вновь потянулся к кистям. Кто обратит внимание, если по дороге через сад художник сорвет цветок магнолии, лист папоротника, шишку кипариса? И понемногу наполнялся холстами тайный ларец в мастерской.

Сделавший первые шаги по запретной дороге неизбежно, если не будет остановлен, сделает и другие. Ингерн проводил много времени на городских площадях, глядя на собак и кошек. Он мог часами смотреть на спящую на солнце рыжую кошку, на игривых котят, на собаку, сидящую в ожидании хозяина, а потом возвращался домой и рисовал, рисовал, рисовал... Гриффелем на белой бумаге, краской на холсте или камне. Это было наваждением. Это было наслаждением. И еще слаще становилось от того, что художник творил для себя, не для толпы.

Вряд ли Ингерн решился бы открыться Сарите, если бы не почувствовал, что девушка отдаляется от него, того гляди — порвется тонкая нить между ними, потеряет он любимую. А она потом говорила, что поняла, прочитала во взгляде: есть у Ингерна от нее тайна, большая тайна, из тех, что захватывают сердце и мысли человека.

Когда узнала, увидела, что хранится в запертном от всех ларце, то долго сидела молча, перебирая один за другим наброски, скользя пальцами по крошечным фигуркам, вылепленным из глины, замирая над картинами. А когда подняла глаза — не страх, не порицание увидел в них Ингерн, а восхищение и зависть.

— Я тоже хочу, — тихо сказала Сарита.

Художник не сразу понял, о чем она говорила. А когда понял...

Рисовать ее было тяжело, тяжело и восхитительно. Обнаженная Сарита лежала на тахте, застеленной болотно-зеленым покрывалом. Он видел ее наготу и прежде: среди жаркого, наполненного истомой дня и среди волшебной прохлады ночи, помнил Сариту спящей и движущейся в безумном танце, знал, казалось, каждую



ФАНТАСТИКА

крохотную жилку, каждую родинку. Но никогда он не знал ее — так.

Ингерн уже почти закончил наброски, когда Сарита неожиданно заболела. Ее одолевала странная слабость, врач велел как можно больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Ингерн хотел прервать работу, но Сарита и слышать об этом не хотела.

— Когда-нибудь, — говорила она, — я состарюсь. На моем лице и теле появятся морщины, стан раздастся, рождение ребенка оставит белые полосы на животе, груди обвиснут, поседеют волосы. А на твоей картине я останусь, как сейчас, молодой и прекрасной. Подари мне вечную молодость, Ингерн!

— Но ведь никто и никогда не увидит этой картины, — отвечал художник.

— Ты не хуже меня знаешь, что это не имеет значения...

С каждым днем ей становилось хуже, хотя ни один врач не мог сказать наверняка, чем же она больна. Сарита не испытывала боли, только бесконечную, теперь уже повседневную усталость. Ингерну казалось, будто жизнь непонятным образом уходит из Сариты, вытекает по капле. И чем слабее становилась ее тело, тем сильнее было ее желание увидеть портрет законченным.

— Мне так страшно, Ингерн, — шептала она, лежа рядом с ним в темноте, — мне страшно умереть, исчезнуть без остатка. Твоя картина важна, я знаю, я чувствую это. Она снится мне, Ингерн, я знаю, что связана с ней тайными нитями. Быть может, она спасет меня? Удержит в этом мире? Торопись же, прошу тебя!

Ингерн торопился как мог. Было слишком трудно, слишком непривычно. То, что выходило на полотно, слишком отличалось и от оригинала, и от того портрета, что вставал перед мысленным взором художника и дразнил своим совершенством. В иные дни Ингерну едва удавалось нанести на холст несколько мазков.

Мерклене появился в доме художника поздно вечером.

— Уходи, — произнес он, едва оставшись с другом наедине. — Не спрашивай, как я узнал. Они придут к тебе утром, но утро для них наступает рано. Беги.

Мерклене был одет в измазанное краской рванье, которое обычно носил в мастерской, чтобы не пачкать одежду. Сказав то, что пришел сказать, друг повернулся, чтобы уйти, и даже спина его выражала безмерную обиду. Как Ингерн мог не открыться ему?

— Мерклене, стой! — окликнул Ингерн, но тот лишь покачал головой, не останавливаясь. — Спасибо тебе! — крикнул художник.

Ингерн прежде слышал, что родственник Мерклене служил одним из младших жрецов во Дворце Узоров, но сейчас не было времени думать об этом. Он по-

спешно разбудил Сариту, чтобы проститься с ней и отправить ее домой, но девушка неожиданно заупрямилась.

— Я поеду с тобой, — заявила она. — У меня, быть может, осталось слишком мало времени, чтобы провести его в разлуке.

— Выдержишь ли ты дорогу?

— Я еду с тобой, — упрямо повторила она.

Отговорить ее не удалось. Уходя, они взяли с собой содержимое тайного ларца и все краски, что были в доме Ингерна.

К удивлению Ингерна, за время, проведенное в бегах, болезнь Сариты, казалось, отступила. Надежда поправиться заставляла глаза девушки сверкать знакомым задорным огнем. В Ремо, небольшом городке, где они истратили последние деньги, Ингерн нанялся к трактирщику расписать потускневшие, покрытые копотью стены и сделать вывеску. Этого хватило, чтобы оплатить кров и еду на неделю. Потом нашлась работа у красильщика шерсти, затем — у портного. Сарита смеялась: знали бы здешние люди, что их платья раскрашивает известнейший художник столицы! Ингерн тоже смеялся, но прилагал все усилия, чтобы никто этого так и не узнал.

Бесконечные маленькие городки, похожие один на другой, постоянные двory на окраинах, случайные заработки...

Они умчались из очередной таверны верхом на неоседланных лошадях, увезя на этот раз лишь жемчужную брошь, приколотую к платью Сариты, и скатанный в трубку портрет. В одном кармане Ингерна лежали две серебряные монеты, в другом огниво. Все остальное досталось жрецам.

На этот раз ночевать пришлось в степи. К счастью, сухой травы и прутьев кругом было в достатке. Сидя у костра и прижимая к себе девушку, Ингерн прошептал:

— Не могу простить себе, что впутал тебя во все это.

— Не смей жалеть, что сделал меня счастливой, — ответила она.

Они помолчали, затем Ингерн произнес:

— На этот раз мы едва ушли. Но в следующий можем не успеть. Если мы будем и дальше всего лишь убегать от них, как зайцы от галернских гончих, рано или поздно нас постигнет заячья судьба.

Сарита молчала, понимая, что Ингерн не произнес бы слов отчаяния, если бы не собирался произнести и слова надежды.

— Поедем в Самею, — сказал художник, глядя на огонь, — там нас не достанет рука Зианора.

В Самее им повезло: здесь они встретили тех самых братьев Лодио и Леграна, которые нередко покупали работы Ингерна, чтобы продать их в своем родном городе.

— Оставайся здесь, — предложил Легран, и Лодио согласно кивнул. — Дворец Узоров Зианора не ладит с самейским, и о вас, скорее всего, тут ничего не знают.

Художник понимал, что братья думают прежде всего о собственной выгоде: ковры с узорами, придуманными Ингерном, стоили в Самее немалых денег. Но все равно он испытал нечто вроде благодарности: после почти целого года скитаний у них с Саритой появился постоянный дом, мастерская, кисти и краски. За все это заплатили братья, не забыв назначить достаточный процент на ссуду.

Ингерну было непросто снова взяться за портрет. Все записи были потеряны, и смешивать краски, достигая нужного оттенка, пришлось заново. С трудном удалось достать точную копию покрывала, на котором в прошлый раз позировала Сарита, не легче — найти в новом доме комнату, где так же, как прежде, падал свет. Казалось, руки забыли, как правильно держать кисть. Художник стоял перед мольбертом часами, не сделал ни одного мазка, потом в отчаянии бросил кисти и падал без сил на постель рядом со своей моделью. Так шел день за днем, расписывались новые ковры и холсты, но портрет оставался тем же, что и в день, когда беглецы увезли его из Зианора. Не выходили у Ингерна ни цветы, ни животные: казалось, способность творить подобия оставила его.

Однажды вечером Сарита принесла цветок семейской лилии.

— Но ведь он же стоит огромных денег! — изумленно произнес Ингерн.

— Я продала свою жемчужную брошь, — просто ответила она. — Этого оказалось как раз достаточно.

И через месяц вновь зацвела на холсте лилия цвета чистого золота.

Руки все еще не желали слушаться так, как раньше, но перед мысленным взором Ингерна вновь возник полностью оконченный портрет — такой, каким он должен быть. И как бы медленно ни двигалась работа, Ингерн знал, что не отступится.

Лишь когда Сарита опять начала торопить его, умоляя поскорее закончить портрет, Ингерн понял то, что девушка старательно скрывала от него: в Самее ее болезнь вернулась и вновь стала по капле пить силы. Она не поддавалась ни усилиям врачей, ни лекарственным травам знахарок, ни заклинаниям лучших магов. Накладывая кистью мазки, со дня на день становящиеся все более уверенными, Ингерн с трудом удерживал жгучую обиду: казалось, судьба поманила надеждой лишь для того, чтобы жестоко посмеяться. Мужество начало оставлять и Сариту: ночами Ингерн просыпался от заглушаемых подушкой рыданий и лишь молча обнимал вздрагивающие плечи.

Сила духа возвращалась к девушке лишь в те часы, когда она лежала перед Ингерном на зеленой ткани покрывала, пока он мазок за мазком приближал к совершенству ее портрет, запретное подобие. И бывало, что ночью, не в силах найти других слов, Ингерн шептал ей, повторяя раз за разом, как заклинание, два слова: «Я успею!»

Ингерн не успел даже проснуться, понять, что случилось и отчего в доме такой грохот, как уже оказался связан. Затем, брошенный на пол, словно нечто ненужное и не имеющее значения, он смотрел, как ворвавшиеся в дом люди обшаривают комнату. Сарита сидела в кресле под охраной одного из жрецов, хотя в этом уже не было никакой необходимости: она была слишком слаба, чтобы встать на ноги. Голова Сариты бессильно откинулась на спинку кресла, и, глядя на яркое золото и изумрудную зелень обивки, Ингерн вдруг вспомнил тот день, когда представил высшему свету Зианора модель, одетую лишь в краску. День, когда все изменилось для них обоих. Казалось, это было так давно... десятилетия, века назад. А ведь и двух лет не прошло с того дня. Жалел он? Нет. Ни единой минуты. Весь его успех, признание Зианора не стоили двух мазков на портрете Сариты.

— Господин Арол! — раздался оклик из мастерской. — Господин Арол, подобие здесь.

— В мастерской? — откуда-то ответил знакомый голос. — Значит, еще не закончено?

— Трудно сказать, господин Арол. Подобие довольно близко, но холст все еще на мольберте, похоже, художник собирался продолжать работу.

Молчание. Затем негромкое:

— Сарита. Я так и думал. Погоди здесь.

Шаги приблизились и замерли над головой Ингерна, затем Арол переступил через него, даже не взглянув, и, опустившись на колени перед креслом, взял безжизненное запястье девушки. Когда он наконец поднялся на ноги и обернулся, то Ингерн, к своему изумлению, увидел на лице жреца улыбку облегчения.

— Мы успели! — воскликнул он, поднимая лицо к небу. — Она еще жива. Мы успели!

В следующую минуту дом наполнился лязгом оружия и криками явившихся на шум семейских стражников...

— Я... должен буду его уничтожить? — дрогнувшим голосом спросил Ингерн.

Он сам не знал еще, верит ли он услышанному, одновременно желая и не желая, чтобы слова Арола оказались правдой.

— Принесение вреда подобию, даже неоконченному, несет опасность для оригинала. А Сарита и так слаба. Ты слишком талантлив, художник.

— Теперь она поправится?

— Нет, — покачал головой Арол. — Ты слишком талантлив, — повторил он. — Подобие забрало много. Но она и не умрет. Если ты позволишь нам забрать ее, мы будем заботиться о ней.

— Нет, — коротко сказал Ингерн.

Арол пожал плечами.

— На семейской земле я не имею власти и не могу принудить тебя. Семейский же Дворец Узоров слишком обижен на меня за самоуправство в их владениях, чтобы делать мне одолжения. Прощай, художник. К счастью, ты просто не знал, что творил.

— Разве могло быть по-другому?

Арол не ответил.

— Что я могу сделать, чтобы вернуть ей здоровье?

— Ничего, — ответил жрец. — Бывает, что силы возвращаются к жертве, если подобие сделано недостаточно хорошо. Не в этот раз.

— Я отдам жизнь, если это понадобится. Что мне делать?

— Ничего, — повторил Арол. — Ты ничего не можешь сделать, Ингерн. Так бывает...

Когда жрец уже поставил ногу в стремя, Ингерн удержал его:

— Постой! Скажи только — почему? Почему вы держите в тайне причины запрета? Ведь знай я, кому и чем придется расплачиваться...

Жрец, не оборачиваясь, пожал плечами:

— Если ты подумаешь, ты легко найдешь ответ на этот вопрос.

К удивлению Ингерна, он не потерял способности рисовать. Картины, выходившие из-под его кисти, по-прежнему пользовались спросом. Кровать, на которой лежала Сарита, по ее желанию перенесли в мастерскую, и девушка наблюдала за тем, как рождаются новые картины. Круги, квадраты, линии, завитки... Буйство цветов, перетекающих один в другой, или же яркий узор на однотонном фоне. Иногда она засыпала. Ей не ста-



ФАНТАСТИКА

новилось хуже, она не испытывала ни боли, ни страданий — просто силы, ушедшие в подобие, не желали возвращаться обратно.

Она вновь стала плакать по ночам. Теперь у нее не доставало сил рыдать, как прежде, ни даже перевернуться и уткнуться лицом в подушку — слезы просто катились по щекам, одна за другой, пока не иссякали.

И когда Ингерн однажды утром в отчаянии спросил: «Что же мне делать?» — он знал, каким будет ответ.

— Допиши его, — произнесла она. — Допиши. Я не хочу больше — так...

Ингерн подошел к мольберту. Ему показалось, что последних лет не было. Тело Сариты почти не изменилось, лицо тоже осталось прежним, лишь глаза теперь не сверкали былым задором.

— Начинай, — произнесла она очень тихо, но он услышал. — И поторопись закончить. На этот раз я не боюсь.

И кисть погрузилась в краску...

Ингерн работал с упоением, которого не знал уже давно. Сегодня и кисти, и краски слушались его, творили его волю. Однако художник уже не был тем Ингерном, что несколько лет назад, когда впервые осмелился сотворить подобие. И вот на, казалось бы, законченном портрете появились новые мазки. Лицо Сариты изменилось неуловимо, еле заметные морщинки залегли в углах губ. Чуть-чуть красного, чуть-чуть голубого — и вот слегка покраснели и припухли от слез веки.

Глаза, глядящие порой с вызовом, порой с покорностью, но всегда — с пониманием. Губы, открывавшиеся ему навстречу или шепчущие слова ободрения. Руки, такие родные, такие ласковые. Грудь, которые он так любил ласкать, нежные и до сих пор сохранившие упругость. Живот, которому не суждено познать тяжесть плода. Бедро, колени, узкие ступни ног.

С портрета теперь смотрела не юная влюбленная девушка, не верящая, что в этой жизни может случиться что-то дурное с ней или с тем, кто ей дорог. Под руками Ингерна оживала женщина, отдавшая многое и потерявшая еще больше. Женщина, которая больше не боялась смерти.

Слезы мешали художнику, но и не глядя он чувствовал, что портрет окончен. Ему не было нужды смотреть, чтобы знать: в этот миг тело на тахте замерло, голова без сил откинулась на подушки и грудь перестала подниматься и опускаться.

Ингерн сделал шаг назад, затем другой и, почти не сомневаясь, протянул руку.

И, оперевшись на нее, чтобы встать, с портрета в комнату шагнула Сарита.

